

В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору — высыпали на улицу все, от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, — лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот.

С той поры редко видели его в хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского ажник кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красота она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию будто бы за свежей наковаской. Прокофий полез за наковаской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофию последняя из никомушных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, съехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы

баба была, а то так... Ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки черные, здоровющие, стригеть ими, как сатана, прости Бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубыть, не махонькая, сама трех вынянчила.

— А с лица-то как?

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменные, — небось не сладко на чужой сторонushке. А ишо, бабоньки, ходит-то она... в Прокофьевых шароварах.

— Ну-у?.. — ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Должно, буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне...

Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день Троицы, перед светом, видала, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

— За чем добрым пожаловали, господа старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала.

Наконец один подвыпивший старик первым крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батарец, по уличному прозвищу Люшня, стучал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечего тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз!.. — гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом

протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса.

Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шархнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена; в прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

* * *

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, Прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делала его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрешиваться с казачьей. Отсюда и повелось в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, вьелся Пантелей в хозяйство: заново открыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жостью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский

баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряхистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотре на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену.

Старший, уже женатый сын его, Петро, напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, хоть на шесть лет моложе, такой же, как у бати, вислый коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул обтянуты коричневой румянеющей кожей. Так же ссутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее, звероватое.

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да Петрова жена Дарья с малым дитем — вот и вся мелеховская семья.

II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под туч тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадюкой. Левобережное Обдонье, пески, енды¹, камышистая непролазь, лес в росе — полыхали испуленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след.

¹ Енды — котловина, опущенная лесом.

Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая Дарьиными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в полисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

— Гришка, рыбалить поедешь?

— Чего ты? — шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

— Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, взял в белые шерстяные чулки и долго надевал чирок, выправляя подвернувшийся задник.

— А приваду маманя варила? — сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы.

— Варила. Иди к баркасу, я зарáz.

Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, похозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

— Куда править?

— К Черному яру. Спробуем возле этой кáрши, где надьсь сидели.

Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

— Гребани, что ль.

— А вот на середку выберемся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их глухие на воде петушиньи переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил к котловине. Сажень в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены.

— Разматывай, а я заприважу, — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.

Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул: «Шик!» Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся:

— Ловись, ловись, рыбка, большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла, едва грузило коснулось дна. Григорий ногой придавил конец удилища, полез, стараясь не шелохнуться, за кистом.

— Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.

— Серники захватил?

— Ага.

— Дай огню.

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги.

— Сазан, он разное берет. И на ущербе иной раз возьмется.

— Чётно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлюпнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

— Теперя жди! — Пантелей Прокофьевич вытер рукавом мокрую бороду.

Около затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился у яра.

* * *

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилища.

Григорий выплюнул остаток сигарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он ругал отца за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выкуренного натошак табака воняло припаленной щетиной. Нагнулся было зачерпнуть в пригоршню воды — в это время конец удилища, торчавший на пол-аршина от воды, слабо качнулся, медленно пополз книзу.

— Засакай! — выдохнул старик.

Григорий, вострепнувшись, потянул удилище, но конец стремительно зарылся в воду, удилище согнулось от руки обрубком. словно воротом, огромная сила тянула вниз тугое красноталовое удилище.

— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилище и не мог. Сухо чмокнув, лопнула толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

— Ну и бугай! — пришептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Зволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул.

Едва грузило достигло дна, конец погнуло.

— Вот он, дьявол!.. — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремени рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

— Небось!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, угнув тупую лобастую голову, опять шарахнулся вглубь.

— Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!

— Держи, Гришка!

— Держу-у-у!

— Гляди под баркас не пушай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся было с черпалом, но сазан, напрыгая последние силы, вновь ушел в глубину.

— Голову его подымай! Нехай глотнет ветру, он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, тот ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

— Отвоевался! — крикнул Пантелей Прокофьевич, поддевая его черпаком.

Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

— Сматывай, Гришка. Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет тот что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой дворы хутора.

— Ты, Григорий, вот что... — нерешительно начал он, теббя завязки лежавшего под ногами мешка, — примечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой...

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаясь в мускулистую прижатую солнцегревом шею, выдавил белую полоску.

— Ты гляди, парень, — уже жестко и зло продолжал ста-

рик, — я с тобой не так загутарю. Степан нам сосед, и с его бабой не позволю баловать. Тут дело может до греха выграть, а я наперед упреждаю: примечу — запорю!

Пантелей Прокофьевич ссучил пальцы в узловатый кулак, — жмурия выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливалась кровь.

— Наговоры, — глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.

— Ты помалкивай.

— Мало что люди гутарют...

— Цыц, сукин сын!

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил:

— Гляди не забудь, а нет — с нынешнего дня прикрыть все игрища. Чтоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

— Рыбу бабам отдать?

— Понеси купцам продай, — помягчел старик, — на табак разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий позади отца. «Выкуси, батя, хоть стреноженный, уйду ноне на игрище», — думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо смыл с сазаньей чешуи присохший песок, продел сквозь жабры хворостинку.

У ворот столкнулся с давнишним другом-одногодком Митькой Коршуновым. Идет Митька, играет концом наборного пояска. Из узеньких щелок желто маслятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, поставленные торчмя, оттого взгляд Митькин текуч, неуловим.

— Куда с рыбой?

— Нонешняя добыча. Купцам несу.

— Моховым, что ли?

— Им...

Митька на глазок взвесил сазана.

— Фунтов пятнадцать?

— С половиной. На безмене прикинул.

— Возьми с собой, торговаться буду.

— Пойдем.

— А магарыч?

— Сладимся, нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ.

По дороге рядышком вышагивали три брата по кличке Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой воротник мундира прямил ему жилистую шею, редкая, курчавым клинышком, бороденка задорно топорщилась вбок, левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках Алексея винтовку, кусок затвора изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает; голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутит Алексей сигарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами, скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую сигарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак не особенно чтоб особенный — так, с тыкву-травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать, кнут застрялся, стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей кровь, насилиу отлежался. Остальные братья — Мартин и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На Масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых Митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.

Равняясь с ними, Алексей мигнул раз пять подряд.

— Продай чурбака!

— Купи.

— Почем просишь?

— Пару быков да жену в придачу.

Алексей, шурясь, замахал обрубок руки:

— Чудак, ах, чудак!.. Ох-хо-ха, жену... А приплод возьмешь?

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, — зубоскалил Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе ктитор¹, поднимая над головой гуся, выкрикивал: «Полтинник! От-да-ли. Кто больше?»

¹ Ктитор — церковный староста.

Гусь вертел шеей, презрительно жмурил бирюзинку глаза. В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

— Наш дед Гришака про турецкую войну брешет. — Митька указал глазами. — Пойдем послушаем?

— Покель будем слухать — сазан провоняется, распухнет.

— Распухнет — весом прибавит, нам выгода.

На площади, за пожарным сараем, где рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и зажал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары — пряжка в зубах, — вылезал старик.

— Приспичило? — съязвил Митька.

Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.

— А тебе что?

— Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Чтоб старуха за неделю не отбанила.

— Я тебе, стерва, навтыкаю! — обиделся старик.

Митька стал, шуря кошачьи глаза, как от солнца.

— Ишь ты, благородный какой. Сгинь, сукин сын! Что присучился? А то и ремнем!

Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила — в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.

— Во, Митрий, живут люди...

— Ручка и то золоченая. — Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул: — Деда бы энтото направить сюда...

— Кто там? — окликнули их с террасы.

Робея, Григорий пошел первый. Крашенные половицы мел сазаний хвост.

— Вам кого?

В плетеной качалке — девушка. В руке блюдец с клубничкой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, сжимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала пришедших.

На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.

— Рыбки не купите?

— Рыбы? Я сейчас скажу.

Она качнула кресло, вставая, — зашлепала вышитыми, надетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало

белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.

Митька толкнул Григория:

— Гля, Гришка, ну и юбка... Как стекло, насквозь все видеть.

Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.

— Пройдите на кухню.

Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, оставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Девушка оглядела его озорными, беспокойными глазами.

— Вы здешний?

— Тутошний.

— Чей же это?

— Коршунов.

— А звать вас как?

— Митрием.

Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.

— Кто из вас рыбу ловит?

— Григорий, друзьяк мой.

— А вы рыбалите?

— Рыбалю и я, коль охота набредет.

— Удочками?

— И удочками рыбалим, по-нашему — притугами.

— Мне бы тоже хотелось порыбалить, — сказала она, помолчав.

— Что ж, поедем, коль охота есть.

— Как бы это устроить? Нет, серьезно?

— Вставать надо дюже рано.

— Я встану, только разбудить меня надо.

— Разбудить можно... А отец?

— Что отец?

Митька засмеялся.

— Как бы за вора не почел... Собаками ишо притравит.

— Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно. — Она указала пальцем. — Если придете за мной — постучите мне в окошко, и я встану.

В кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки.

Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояска, молчал.

— Женаты вы? — спросила девушка, тепля затаенную улыбку.

— А что?

— Так просто, интересно.

Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:

— Что же, Митя, девушки вас любят?

— Какие любят, а какие и нет.

— Ска-жи-те... А отчего это у вас глаза как у кота?

— У... кота? — вконец терялся Митька.

— Вот именно, кошачьи.

— Это от матери, должно... Я тут ни при чем.

— А почему же, Митя, вас не женят?

Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизною глаз.

— Женилка не выросла.

Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала.

С улицы по крыльцу шаги.

Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.

— Ко мне? — спросил, пройдя, не поворачивая головы.

— Это, папа, рыбу принесли.

Вышел с порожними руками Григорий.

III

Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахло на него запахом перекисших хмелин и пряной сухменью богородицыной травки.

На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные, с лампасами, шаровары, перекрестился, лег. На полу — перерезанная крестом оконного переплета золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянец серебряных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.

Задремал было, но в кухне заплакал братнин ребенок.

Немазаной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:

— Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою, — запела тихонько:

— Колода-дуга,
Иде ж ты была?
— Коней стерегла.
— Чего выстерегла?
— Коня с седлом,
С золотым махром...

Григорий, засыпая под мерный баюкающий скрип вспомнил: «А ить завтра Петру в лагеря выходить. Останется Дашка с дитем... Косить, должно, без него будем».

Зарылся головой в горячую подушку, в уши назойливо сочится:

— А иде ж твой конь?
— За воротами стоит.
— А иде ж ворота?
— Вода унесла.

Встряхнуло Григория залиvistое конское ржанье. По голосу угадал Петрова строевого коня.

Обессилевшими со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текучую зыбь песни:

— А иде ж гуси?
— В камыш ушли.
— А иде ж камыш?
— Девки выжали.
— А иде ж девки?
— Девки замуж ушли.
— А иде ж казаки?
— На войну пошли...

Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни, вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина, и неожиданно пропал сон.

По Дону наискось — волнистый, никем не езженный лунный шлях. Над Доном — туман, а вверх звездное просо. Конь позади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный крик, возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.

Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробная капель. На сердце у Григория сладостная пустота. Хорошо и бездумно.

Возвращаясь, глянул на восход, там уже рассосалась синяя полутьма.

Возле конюшни столкнулся с матерью.

— Это ты, Гришка?

— А то кто ж.

— Коня поил?

— Поил, — нехотя отвечает Григорий.

Откинувшись назад, несет мать в завеске¹ на затоп кизяки, шаркает старчески дряблыми босыми ногами.

— Сходил бы Астаховых побудил. Степан с нашим Петром собирался ехать.

Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожащую пружину. Тело в колючих мурашках. Через три порожка взбегает к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит взбитую выше колен Аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту и в чугунном звоне пухнет голова.

Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло:

— Эй, кто тут есть? Вставайте!

Аксинья всхлипнула со сна.

— Ой, кто такое? Ктой-то? — Суетливо зашарила, забилаясь в ногах голая ее рука, натягивая рубаху. Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны; крепок заревой бабий сон.

— Это я. Мать послала побудить вас...

— Мы зараз... Тут у нас не влезешь... От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь?

По голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.

* * *

Из хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казаков. Место сбора — плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусиновых рубахах, в снаряжении.

Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чембур. Пан-

¹ Завесок — передник.

телей Прокофьевич похаживал возле Петрова коня, подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:

— Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?

Вся в румянном цвету, Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:

— Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, что до Черкасского не ворохнется.

— Не поел? — осведомился Петро, слюнявя дратву и кивая на коня.

— Жует, — степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. Малое дело — крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.

— Доисть Гнедой — попоите его, батя.

— Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня!

Высокий поджарый донец с белой на лбу вывездью пошел играючи. Григорий вывел его за калитку, чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него и с места — машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь сбился с ноги, зачистил, пошел под гору намётом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стезки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.

С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голо-систо крикнула:

— Чертяка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты едешь.

— Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагерь, может, и я в хозяйстве сгожусь.

— Как-то ни черт, нужен ты мне!

— Зачнется покос — ишо попросишь, — смеялся Григорий.

Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.

— Что ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий.

— А тебе чего?

— Какая ты... Спросить, что ль, нельзя?

— Собрался. Ну?

— Остаешься, стал быть, жалмеркой?

— Стал быть, так.

Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, ударил по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро; перекинув

через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщилась, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.

— Небось, будешь скучать по мужу? А?

Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась.

— А то как же. Ты вот женись, — переводя дух, она говорила прерывисто, — женись, а после узнаешь, скучают ай нет по дружечке.

Толкнув коня, равняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза:

— А ить иные бабы ажник рады, как мужей проводят. Наша Дарья без Петра толстеть zaczynaет.

Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:

— Муж — он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обже-ним?

— Не знаю, как батя. Должно, после службы.

— Молодой ишо, не женись.

— А что?

— Сухота одна. — Она глянула исподлобья; не разжимая губ, скупно улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые.

Он, разбирая гриву на прядки, сказал:

— Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.

— Ай приметил?

— Чего не примечать... Ты вот проводишь Степана...

— Ты со мной не заигрывай!

— Ушибешь?

— Степану скажу словцо...

— Я твоего Степана...

— Гляди, храбрый, слеза капнет.

— Не пужай, Аксинья!

— Я не пужаю. Твое дело с девками. Пушай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.

— Нарошно буду глядеть.

— Ну и гляди.

Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.

— Пусти, Гришка!

— Не пушу.

— Не дури, мне надо мужа собирать.

Григорий, улыбаясь, горячил коня; тот, переступая, теснил Аксинью к яру.

— Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, что подумают?

Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.

На крыльце Петро простался с родными. Григорий заседлал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.

Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту, мундштук. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:

— Лысых работой не нури, батя! Заосеняет — продадим. Григорию ить коня справлять. А степную траву, гляди, не продавай: в лугу ноне, сам знаешь, какие сена будут.

— Ну, с Богом. Час добрый, — проговорил старик, крестясь.

Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил позади складки рубахи, стянутые пояском. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.

Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.

— Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!..

Дуняша козой скакнула к воротам.

— Чего орешь, дура! — досадно крикнул на нее Григорий.

— Остались пирожки-и! — прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы.

Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.

— Ворота возьмись поправь да стояно́к на углу врой. — Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро.

Через плетень Григорий видел, как собирался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан, улыбаясь, что-то говорил ей. Он не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руки с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой Аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной; через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и — когда наклонялся к жене — закрученный кончик русого уса.

Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремя седока. Степан выехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи заглядывала ему в глаза.

Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.

Григорий провожал их долгим, неморгающим взглядом.

IV

К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За левадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону, с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. В хуторе хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную внешней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, прожгла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге, — на голове у него, закрывая ему глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз, — и пронзительно верещал:

Дождюк, дождюк, припусти,
Мы поедем во кусты
Богу молиться,
Христу поклониться.

Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками Мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочить голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как Мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колючки, — но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядреный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатались за Дон.

В сенях отец и потный Гришка тянули из боковушки скатанный бредень.

— Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! — крикнул Дуняшке Григорий.

В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха, укачивая дитя, бурчала:

— Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, гас¹ все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чума понесет? Ишо перетопнете, там ить на базу страсть Господня. Ишь, ишь как полыхает! Господи Иисусе Христе, царица небес...

В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо: слышно было, как ставни царапал дождь, — следом ахнул гром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.

Старуха страшными глазами глядела на ластившуюся у ног ее кошку.

— Дунька! Го-о-ни ты ее, прок... царица небесная, прости меня, грешницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брысь ты, нечистая сила! Чтоб ты...

Григорий, уронив комол бредня, трясся в беззвучном хототе.

— Ну, чего вы вскагакались? Цыцте! — прикрикнул Пантелей Прокофьевич. — Бабы, живо зашивайте! Надысь ишо говорил: оглядите бредень.

— И какая теперя рыба, — заикнулась было старуха.

— Не разумеешь — молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода, небось, уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай — играет ерик?

¹ Гас — керосин.

Дуняшка нехотя, бочком, подвинулась к дверям.

— Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, может груди застудить, — не унималась старуха.

— Мы с Гришкой, а с другим бреднем — Аксинью покличем, кого-нибудь ишо из баб.

Запыхавшись, вбежала Дуняша. На ресницах, подрагивая, висели дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.

— Ерик гудет, ажник страшно!

— Пойдешь с нами бродить?

— А ишо кто пойдет?

— Баб покличем.

— Пойду!

— Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пушай покличет Малашку Фролову!

— Энта не замерзнет, — улыбнулся Григорий, — на ней жиру, как на добром борове.

— Ты бы сенца сухого взял, Гришунька, — советовала мать, — под сердце подложишь, а то нутрё застудишь.

— Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.

Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья, в рваной подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке, выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвизывала у порога чулки, хрипела простуженно:

— Мешки взяли? Истинный Бог, мы ноне шатанем рыбы.

Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пеннел лужи, потоками сползал к Дону.

Григорий шел впереди. Подмывало его беспричинное веселье.

— Гляди, батя, тут канава.

— Эка темень-то!

— Держись, Акюша, при мне, вместе будем в тюрьме, — хрипло хохочет Малашка.

— Гляди, Григорий, никак, Майданниковых пристань?

— Она и есть.

— Отсель... зачинать... — осиливая хлобыстающий ветер, кричит Пантелей Прокофьевич.

— Не слышно, дяденька! — хрипит Малашка.

— Заброди, с Богом... Я от глуби. От глуби, говорю... Ма-

лашка, дьявол глухой, куда тянешь? Я пойду от глуби!.. Григорий, Гришка! Акси́нья пушай от берега!

У Дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя.

Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручем стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Комол рвется из рук... Глубже. Глубже. Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой гребет к берегу. Черная колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стучается какая-то рыба.

— Обходи глубе! — откуда-то из вязкой черни голос отца. Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплевывается.

— Акси́нья, жива?

— Жива покуда.

— Никак, перестает дождик?

— Маленький перестает, зараз большой тронется.

— Ты потихоньку. Отец услышит — ругаться будет.

— Испужался отца, тоже...

С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.

— Гриша, у берега, кубыть, карша. Надоть обвесть.

Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, будто с яра рухнула в воду глыбища породы.

— А-а-а-а! — где-то у берега визжит Акси́нья.

Перепуганный Григорий, вынырнув, плывет на крик.

— Акси́нья!

Ветер и текучий шум воды.

— Акси́нья! — холодеет от страха, кричит Григорий.

— Э-гей!! Гри-го-ри-ий! — издалика приглушенный отцов голос.

Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой: бредень.

— Гриша, где ты?.. — плачущий Акси́нын голос.

— Чего ж не откликалась-то?.. — сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.

Присев на корточки, дрожа, разбирают спутанный комом бредень.

Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля не-впитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.

Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово-бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.

— Как оно меня шибанет на берег, — переводя дух, рассказывает она, — от ума отошла. Спужалась до смерти! Я думала — ты утоп.

Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.

— Как у тебя тепло-то в рукаве, — жалобно говорит она, — а я замерзла. Колики по телу пошли.

— Вот он, проклятуший сомяга, где саданул!

Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.

От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:

— Нитки у тебя?

— Туточка.

Дуняшка, запыхавшись, подбегает.

— Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, чтоб скорей шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили! — В голосе Дуняшки нескрываемое торжество.

Аксинья, лязгая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.

Пантелей Прокофьевич крутит сигарку рубчатými от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хвалится:

— Раз забрели — восемь штук, а другой раз... — Он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.

Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: трется живучая стерлядь.

— А вы чего ж отбились?

— Сом бредень просадил.

— Зашили?

— Кое-как, ячейки посцепили...

— Ну дойдем до колена — и домой. Забрерай, Гришка, чего ж взноровился?

Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.

— Не трясись!

— И рада б, да духу не переведу.

— Давай вот что... Давай вылезать, будь она проклята, рыба эта!

Крупный сазан бьет через бредень. Учащая шаг, Григорий загибает бредень, тянет комол. Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.

— Через займище пойдем?

— Лесом ближе. Эй, вы там, скоро?

— Идите, догоним. Бредень вот пополоскаем.

Аксинья, морщаясь, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом, почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Пройли саженой сто, Аксинья заохала:

— Моченьки моей нету! Ноги с пару зашлись.

— Вот прошлогодняя копна, может, погреешься?

— И то. Покуда до дому дотянешь — помереть можно.

Григорий свернул набок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.

— Лезь в середку. Тут — как на печке.

Аксинья, кинув мешок, по шею зарылась в сено.

— То-то благодать!

Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых Аксиньиных волос тек нежный, волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полуоткрытым ртом.

— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, таким цветком белым... — шепнул, наклоняясь, Григорий.

Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб стареющего месяца.

Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.

— Пусти!

— Помалкивай.

— Пусти, а то зашумлю!

— Погоди, Аксинья...

— Дядя Пантелей!

— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника, отозвался Пантелей Прокофьевич.

Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.

— Ты чего шумишь? Ай заблудилась? — подходя, переспросил старик.

Аксинья стояла возле копны, поправляя сбитый на затылок платок, над нею дымился пар.

— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.

— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.

Аксинья улыбнулась, нагнувшись за мешком.

V

До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков — молодой калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии Атаманского полка Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван, направлявшийся в Персиановку. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового¹ Христининоного коня и Степанового вороного. Остальные три лошади, оседланные, шли позади. Правил здоровенный и дурковатый, как большинство атаманцев, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, пугал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батареец Томилин. Федот Бодовсков шел позади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорожку кривые свои калмыцкие ноги.

Христинина бричка шла головной. За ней тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и неоседланными лошадьми.

Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвяк порожных стремян.

У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длиннющий ус.

— Степан!

— А?

— ...на! Давай служивскую заиграем?

¹ Двухвершковый конь — конь ростом в два аршина и два вершка. В царскую армию казак обязан был явиться со своим конем не ниже двух аршин и полвершка.

— Жарко дюже. Ссохлось все.

— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!

— Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет, чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрищах драли.

Степан откидывает голову, прокашлявшись, — заводит низким звучным голосом:

Эх ты, зоренька-зарница,
Рано на небо взошла...

Томилин по-бабьи прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стнящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батареяца синенют от усилия узелки жил на висках.

Молодая, вот она, бабенка
Поздно по воду пошла...

Степан лежит к Христоне головой, поворачивается, опираясь на руку; тугая красивая шея розовеет.

— Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,
Стал коня свово седлать...

Степан переводит на Петра улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, вытянув изо рта усину, присоединяет голос.

Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедого
Стал бабенку догонять...

Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза — потное лицо в тени, — ласково ведет песню, то снижая голос до шепота, то вскидывая до металлического звона:

Ты позволь, позволь, бабенка,
Коня в речке напоить...

И снова колокольню-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полой водой, течет над дорогой песня. От

высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в ложину; поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами, на шагающих по обочине дороги людей в белых, просмоленных пылью рубахах. Чибис падает в ложине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву — и не видит, что творится на дороге. А по дороге так же громяхают брички, так же нехотя переступают запотевшие под седлами кони; лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, грядутся во-круг нее, стонут в хохоте.

Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает; сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой:

Не садися возле меня,
Не садися возле меня,
Люди скажут — любишь меня,
Любишь меня
Ходишь ко мне,
Любишь меня,
Ходишь ко мне,
А я роду не простого...

Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:

А я роду не простого...
Не простого —
Воровского, —
Воровского —
Не простого,
Люблю сына князевского...

Федот Бодовсков свищет; приседая, рвутся из постромок кони; Петро, высовываясь из будки, смеется и машет фуражкой; Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бугром движется пыль; Христоня, в распоясанной длиннющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит впрысядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.

VI

Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать

С запада шла туча. С черного ее крыла сочился дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, отражаясь, коверкалась молния. Ветер скупо кропил дождевыми каплями, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.

Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.

Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:

— ... Курган, стал быть, высокий, навроде этого. Я и говорю покойничку батя: «А что, атаман¹ не забастует нас за то, что без всякого, стал быть, дозволения зачнем курган потрошить?»

— Об чем он тут брешет? — спросил вернувшийся от лошадей Степан.

— Рассказываю, как мы с покойничком батей, царство небесное старику, клад искали.

— Где же вы его искали?

— Это, браток, аж за Фетисовой балкой. Да ты знаешь — Меркулов курган...

— Ну-ну... — Степан присел на корточки, положил на лодонь уголек. Плямякая губами, долго прикуривал, катал его по ладони.

— Ну вот. Стал быть, батя говорит: «Давай, Христан, раскопаем Меркулов курган». От деда слышал он, что в нем зарытый клад. А клад, стал быть, не каждому в руки дается. Батя сулил Богу: отдашь, мол, клад — церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная —

¹ Атаман — у казаков в царской России так назывался выборный начальник всех степеней. Во главе Донского войска стоял войсковой атаман, во главе станиц — станичные атаманы, при выступлении казацкого отряда в поход выбирался особый, походный атаман. В широком смысле это слово значило — старшина. С окончательной утратой самостоятельности донского казачества звание атамана всех казачьих войск было присвоено наследнику престола; фактически казачьими войсками управляли наказные (то есть назначенные) атаманы.

сомнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ночи. Дождались, покель смеркнется, кобылу, стал быть, стреножили, сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темечка. Вырыли яму аршина в два, земля — чисто каменная, захрясла от давности. Взмок я. Батя все молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до того в животе бурчит... В летнюю пору, стал быть, харч вам звестный: кислое молоко да квас... Перехватит поперек живот, смерть в глазах — и все! Батя-покойничек, царство ему небесное, и говорит: «Фу, говорит, Христан, и поганец ты! Я молитву прочитываю, а ты не можешь пишу сдерживать, дыхнуть, стал быть, нечем. Иди, говорит, слазь с кургана, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад может в землю уйтить». Я лег под курганом и страдаю животом, взяло на колотье, а батя-покойничек — здоровый был, чертяка! — копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал быть, подовзел ломом, поднял эту плиту... Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит...

— Ну и брешешь ты, Христоня! — не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус.

— Чего «брешешь»? Пошел ты к тетери-ятери! — Христоня поддернул широленные шаровары и оглядел слушателей. — Нет, стал быть, не брешу! Истинный Бог — правда!

— К берегу-то прибивайся!

— Так, братцы, и блестит. Я — глядь, а это, стал быть, сожженный уголь. Там его было мер сорок. Батя и говорит: «Лезь, Христан, выгребай его». Полез. Кидал, кидал этую страмоту, до самого света хватило. Утром, стал быть, глядь, а он — вот он.

— Кто? — поинтересовался лежавший на попоне Томилин.

— Да атаман, кто же. Едет в пролетке: «Кто дозволил, такие-сякие?» Молчим. Он нас, стал быть, сгреб — и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался — успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нету.

Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками.

— Что ж отец-то? Сулил церкву построить, да так и не построил? — спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками.

— Дурак ты, Степа, что ж он за уголья, стал быть, строил ба?

— Раз сулил — значит, должен.

— В счет угольев не было никакого уговору, а клад...

От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла простоватую голову и, не разобрав, в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом.

VII

Аксинью выдали за Степана семнадцати лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков.

За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал.

— Убью, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать — справлю плюшевую кофту и гетры с калошами. Так и помни: убью, ежели что... — пообещал он ей.

Ночью, в одной изорванной исподнице, прибежала Аксинья в хутор. Валяясь в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала... Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшийся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За восемь верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный, спал он на разостланном зипуне, около валялась порожняя бутылка из-под водки. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил у него и ударил окованным барком старика в переносицу. Вдвоем с матерью били его часа полтора. Всегда смиренная, престарелая мать иступленно дергала на обеспамятвшем муже волосы, брат старался ногами. Аксинья лежала под бричкой, укутав голову, молча тряслась... Перед светом привезли старика домой. Он жалобно мычал, шарил по горнице глазами, отыскивая спрятавшуюся Аксинью. Из оторванного уха его стекала на подушку кровь. Вечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убили.

А через год приехали на нарядной бричке сваты за Аксинью. Высокий, крутошей и статный Степан невесте понравился, на осенний мясоед назначили свадьбу. Подошел такой предзимний, с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых; с той поры и водворилась Аксинья в астаховском доме молодой хозяйкой. Свекровь, высокая, согнутая какой-то жестокой бабьей болезнью старуха, на другой же

день после гульбы рано разбудила Аксицию, привела ее на кухню и, бесцельно переставляя рогаи, сказала:

— Вот что, милая моя сношенька, взяли мы тебя не кохаться да не вылеживаться. Иди-ка передои коров, а после становись к печке стряпать. Я — старая, немощь одолевает, а хозяйство ты к рукам бери, за тобой оно ляжет.

В этот же день в амбаре Степан обдуманно и страшно избил молодую жену. Бил в живот, в груди, в спину; бил с таким расчетом, чтобы не видно было людям. С той поры стал он прихватывать на стороне, путался с гулящими жалмерками, уходил чуть не каждую ночь, замкнув Аксицию в амбаре или горенке.

Года полтора не прощал ей обиду: пока не родился ребенок. После этого притих, но на ласку был скуп и по-прежнему редко ночевал дома.

Большое многоскотинное хозяйство затянуло Аксицию работой. Степан работал с ленцой: начесав чуб, уходил к товарищам покурить, перекинуться в картишки, побрехать о хуторских новостях, а скотину убирать приходилось Аксиине, ворочать хозяйством — ей. Свекровь была плохая помощница. Посуетившись, падала на кровать и, вытянув в нитку блеклую желтень губ, глядя в потолок звереющими от боли глазами, стонала, сжималась в комок. В такие минуты на лице ее, испятнанном черными уродливо крупными родинками, выступал обильный пот, в глазах накапливались и часто, одна за другой, стекали слезы. Аксиия, бросив работу, забивалась где-нибудь в угол и со страхом и жалостью глядела на свекровьюно лицо.

Через полтора года старуха умерла. Утром у Аксиини начались предродовые схватки, а к полудню, за час до появления ребенка, свекровь умерла на ходу, возле дверей старой конюшни. Повитуха, выбежавшая из куреня предупредить пьяного Степана, чтобы не ходил к родильнице, увидела лежащую с поджатыми ногами Аксиинину свекровь.

Аксиия привязалась к мужу после рождения ребенка, но не было у нее к нему чувства, была горькая бабья жалость да привычка. Ребенок умер, не дожив до года. Старая развернулась жизнь. И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксиине поперек пути, с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ласковому парню. Он упорно преследовал ее своей настойчивой и ждущей любовью. И это-то упорство и было страшно Аксиине. Она видела, что он не боится Степана, нутром чу-

яла, что так он от нее не отступится, и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, норовила почаще попадаться ему на глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные Гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно. На заре, просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая отчего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное. Что же? Григорий... Гриша...» Пугало это новое, заполнявшее всю ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду.

Проводив Степана в лагеря, решила с Гришкой видаться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепилось в ней еще прочнее.

VIII

За два дня до Троицы хуторские делили луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики и, смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал:

— Досталась нам делянка возле Красного яра. Трава не особо чтоб дюже добрая. Верхний конец до лесу доходит, кой-что — голощечины. Пырейчик проскакивает.

— Когда ж косить? — спросил Григорий.

— С праздников.

— Дарью возьмете, что ль? — нахмурилась старуха.

Пантелей Прокофьевич махнул рукой — отвяжись, мол.

— Понадобится — возьмем. Полудновать-то собирай, что стоишь, раскрылилась!

Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о дележке и жуликоватом атамане, чуть было не обмошенничавшем весь сход.

— Он и энтот год смухлевал, — вступилась Дарья, — отбивали улеши, так он подговаривал все Малашку Фролову конаться.

— Стерва давнишняя, — жевал Пантелей Прокофьевич.

— Батяня, а копнить, гресть кто будет? — робко спросила Дуняшка.

— А ты чего будешь делать?

— Одной, батяня, неуправно.

— Мы Аксютку Астахову покличем. Степан надясь просил скосить ему. Надо уважить.

На другой день утром к мелеховскому базу подъехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Коршунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку, въехал на баз. Его с крыльца окликнула старуха.

— Ты, забурунный, чего прибег? — спросила она с видимым неудовольствием. Недолюбливала старая отчаянного и драчливого Митьку.

— И чего тебе, Ильинишна, надоть? — привязывая к перилам жеребца, удивился Митька. — Я к Гришке приехал. Он где?

— Под сараем спит. Тебя, что ж, аль паралик вдарил? Пешки, стал быть, не можешь ходить?

— Ты, тетенька, какой дыре гвоздь! — обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под навес сарая.

Григорий спал в снятой с передка арбе. Митька, жмуря левый глаз, словно целясь, вытянул Григория плетью.

— Вставай, мужик!

«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное, Григорий вскинулся пружиной.

— Ты чего?

— Будя зоревать!

— Не дури, Митрий, покуда не осерчал...

— Вставай, дело есть.

— Ну?

Митька присел на грядущку арбы, обивая с сапога плетью присохшее грязцо, сказал:

— Мне, Гришка, обидно...

— Ну?

— Да как же, — Митька длинно ругнулся, — он не он, — сотник¹, так и задается.

¹ Офицерские чины царской армии имели следующие наименования: 1) подпоручик (в кавалерии — корнет, в казачьих войсках — хорунжий), 2) поручик (у казаков — сотник), 3) штабс-капитан (в кавалерии — штабс-ротмистр, в казачьих войсках — подесаул), 4) капитан (в кавалерии — ротмистр, в казачьих войсках — есаул), 5) подполковник (у казаков — войсковой старшина), 6) полковник. Первые четыре ступени назывались чинами обер-офицерскими, а последние две — штаб-офицерскими.

В сердцах он, не разжимая зубов, быстро кидал слова, дрожал ногами. Григорий привстал.

— Какой сотник?

Хватая его за рукав рубахи, Митька уже тише сказал:

— Зараз седлай коня и побегем в займище. Я ему покажу! Я ему так и сказал: «Давай, ваше благородие, спробуем». — «Веди, грит, всех друзей-товарищев, я вас всех покрою, затем что мать моей кобылы в Петербурге на офицерских скачках призы сымала». Да, по мне, его кобыла и с матерью, — да будь они прокляты! — а я жеребца не дам обскакать!

Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам; заикаясь от злобы, рассказывал:

— Приехал на гости к Мохову, купцу, энтот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубыть, Листницкий. Такой из себя тушистый, сурьезный. Очки носит. Ну, да нехай! Даром что в очках, а жеребца не дамся обогнать!

Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота — чтоб не видел отец — выехал в степь. Ехали к займищу под горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.

— Откуда скакать? — обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любуясь могучими грудными мускулами Митькиного жеребца.

— От тополя до Царева пруда.

— Где это Царев пруд? — Сотник близоруко сощурился.

— А вон, ваше благородие, возле леса.

Лошадей построили. Сотник поднял над головою плетку. Погон на его плече вспух бугром.

— Как скажу «три!» — пускать! Ну? Раз, два... три!

Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с растерянно-бледным лицом привстал на стремях — казалось Григорию, томительно долго опускал на круп жеребца подтянутую над головой плеть.

От тополя до Царева пруда — версты три. На полпути Митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым наметом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья цепкой скакавших.

Возле Царева пруда — наносный от вешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними поодиночке скользили остальные. Когда подъехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник, против ожидания, показался Григорию нисколько не сконфуженным: он, прислонясь к дереву, покуривал папироску, говорил, указывая мизинцем на свою, словно выкупанную, кобылицу:

— Я на ней сделал пробег в полтораста верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежей — никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня.

— Может быть, — великодушничал Митька.

— Резвей его жеребца по всей округе нету, — завидуя, сказал веснушчатый паренек, прискакавший последним.

— Конь добрячий. — Митька дрожащей от пережитого волнения рукой похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория.

Они вдвоем отделились от остальных, поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодно, сунул два пальца под козырек и отвернулся.

Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксиныю. Шла она, ошипывая хворостинку; увидела Гришку — ниже нагнула голову.

— Чего застыдилась, аль мы телешами едем? — крикнул Митька и подмигнул: — Калинушка моя, эх, горьковатенькая!

Григорий, глядя перед собой, почти проехал мимо и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги — взлягнув, забрызгала Аксиныю грязью.

— И-и-и, дьявол дурной!

Круто повернув, наезжая на Аксиныю разгоряченной лошады, Григорий спросил:

— Чего не здороваешься?

— Не стоишь того!

— За это вот и обляпал — не гордись!

— Пусти! — крикнула Аксиныя, махая руками перед мордой лошади. — Что ж ты меня конем топчешь?

— Это кобыла, а не конь.

— Все одно пусти!

— За что сердчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, что в займище?..

Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка; жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула:

— Отвяжись, Григорий... Я не сердчаю... Я... — И пошла.

Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.

— Придешь ноне на игрище? — спросил тот.

— Нет.

— Что так? Либо ночевать покликала?

Григорий потер ладонью лоб и не ответил.

IX

От Троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чабрец, рассыпанный на полах, пыль мятых листьев да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.

С Троицы начался луговой покос. С самого утра зацвело займище праздничными бабьими юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и гребельщицы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг.

Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.

— Долго зорюешь, Пантелей Прокофьич! — шумели припотевшие косари.

— Не моя вина, бабья! — усмеялся старик и торопил быков плетеным из сырца кнутом.

— Доброе здоровье, односум¹. Припоздился, браток, припоздился... — Высокий казак в соломенной шляпе качал головой, отбивая у дороги косу.

— Аль трава пересохнет?

— Рысью поедешь — успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?

— А под Красным яром.

— Ну, погоняй рябых, а то не доедешь ноне.

¹ Одно сум — сослуживец по полку.

Позади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив меж ребер арбы ноги, кормила длинной, в прожилках, грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядущке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречавшихся по дороге людей. Лицо ее, веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо оттого, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; оттого, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, натягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, с плотно прилипшей рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.

День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивая им, словно в нерешительности: ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно понимая это, не прибавляли шагу, так же медленно, ошупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый с оранжевым отливом слепень кружился над ними.

Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами; там, где еще не сняли травы, ветерок шершавил зеленый с глянцевицей чернью травяной шелк.

— Вот наша делянка. — Пантелей Прокофьевич махнул кнутом.

— От лесу будем зачинать? — спросил Григорий.

— Можно и с этого края. Тут я глаголь вырубил лопатой.

Григорий отпряг занудившихся быков. Старик, поскверкивая серьгой, пошел искать отметину — вырубленный у края глаголь.

— Бери косы! — вскоре крикнул он, махая рукой.

Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стручок далекой колокольни, взял косу. Горбатый нос его блистал, как свежелакированный, во впа-

динах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное число белых, частых зубов, и занес косу, поворачивая морщинистую шею вправо. Саженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами.

Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косою травью. Впереди рассыпанной радугой цвели бабы завески, но он искал глазами одну, белую с прошитой каймой; оглядывался на Аксинью и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косою.

Аксинья неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей откуда-то набредавшие на язык горячие и ласковые слова, потом отбрасывал это, шаггал под счет — раз, два, три; память подсовывала отрезки воспоминаний: «Сидели под мокрой копной... в ендове свиристела турчелка... месяц над займищем... и с куста в лужину редкие капли вот так же — раз, два, три... Хорошо, ах, хорошо-то!...»

Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся: Аксинья, наклоняясь, что-то говорила лежащей под арбой Дарье, та замахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на виё¹, тонюсеньким голоском пела.

«Дойду вон до этого кустика, косу отобью», — подумал Григорий и почувствовал, как коса прошла по чему-то вязкому. Нагнулся посмотреть: из-под ног с писком заковылял в траву маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косою надвое, остальные с чулюканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Изжелта-коричневый, на днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в пушке живое тепло. На плоском раскрытом клювике розовенький пузырек кровяцы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая дрожь горячих еще лапок.

Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони.

— Чего нашел, Гришунька?..

По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее металась мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косою.

¹ Виё — дышло в бычачьей упряжке.

Обедали на-скорях. Сало и казачья присяга — откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке, — весь обед.

— Домой ехать не из чего, — сказал за обедом Пантелей Прокофьевич. — Пушай быки пасутся в лесу, а завтра, покель подберет солнце росу, докосим.

После обеда бабы начали гресть. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат.

Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья догребла оставшиеся ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавидящими глазами, словно мстила за большую, забываемую обиду. Григорий, хмурый и какой-то полинявший, угнал к Дону — поить — быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория, сказал:

— Повечеряешь, а посля постереги быков. Гляди, в траву не пушай. Зипун мой возьмешь.

Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хворостом.

Над займищем по черному недоступному небу шел ущербленный месяц. Над огнем метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднище собрали вечерять. В полевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, крикнула Григорию:

— Иди вечерять!

Григорий в накинутах на плечи зипуне вылез из темноты, подошел к огню.

— Ты чего это такой ненастный? — улыбнулась Дарья.

— К дождю, видно, поясницу ломит, — попробовал Григорий отшутиться.

— Он быков стеречь не хочет, ей-Богу. — Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор как-то не плелся.

Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксинья села, не поднимая глаз, на шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец.

Григорий встал первый, ушел к быкам.

— Гляди, траву чужую быкам не потрави! — вслед ему крикнул отец и поперхнулся кашей, долго трескуче кашлял.

Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Тлеющий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижженной листвы.

* * *

В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазком высматривал не залитый с вечера огонь.

От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксинья. Она. Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинул полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу, — путаясь в полах распахнутого зипуна, задыхаясь, пошел.

— Ой Гри-и-иша... Гри-шень-ка!.. Отец...

— Молчи!..

Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давась горечью раскаяния, Аксинья почти крикнула низким стонущим голосом:

— Пусти, чего уж теперь... Сама пойду!

Х

Не лазоревым алым цветом¹, а собачьей бесилой, дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь.

С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжег. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову.

Скоро про Гришкину связь узнали все. Сначала говорили об этом шепотом, — верили и не верили, — но после того как хуторской пастух Кузька Курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под неярким светом закатного месяца в невысоком жите, мутной прибойной волной покатилась молва.

Дошло и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу — не дотолпиться. Вошел — будто раздались, заулыбались. Протиснул-

¹ Лазоревым цветком называют на Дону степной тюльпан.

ся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платонович.

— Что-то тебя давненько не видать, Прокофьич?

— Делишки все. Неуправка в хозяйстве.

— Что так? Сыны вон какие, а неуправка.

— Что ж сыны-то: Петра в лагеря проводил, двое с Гришкой и ворочаем.

Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую бородку, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков.

— Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?

— А что?

— Как что? Сына задумал женить, а сам ни гугу.

— Какого сына?

— Григорий у тебя ведь неженатый.

— Покедова ишо не собирался женить.

— А я слышал, будто в снохи берешь... Степана Астахова Аксинью.

— Я? От живого мужа... Да ты что ж, Платоныч, навроче смеешься? А?

— Какой смех! Слышал от людей.

Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел, по-бычьи угнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак; заметней припадал на хромую ногу. Минуя астаховский двор, глянул через плетень: Аксинья, нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.

— Эй, погоди-ка!..

Пантелей Прокофьевич чертом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватым песком, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то — анисовыми яблоками.

Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел было поласкаться рябой большеголовый кот. Сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:

— Ты что ж это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уж хвост набок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!.. Пушай знает!.. Ишь ты, курва, мало тебя били...

Чтоб с нонешнего дня и ноги твоей на моем базу не ступало. Шашлы заводить с парнем, а Степан придет да мне же...

Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.

— Ты что мне, свекор? А? Свекор?.. Ты что меня учишь! Иди свою толстозадую учи! На своем базу распорядись!.. Я тебя, дьявола хромого, культяпого, в упор не вижу!.. Иди отсель, не спужаешь!

— погоди, дура!

— Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твоего, захочу — с костями съем и ответа держать не буду!.. Вот на! Выкуси! Ну, люб мне Гришка. Ну? Вдаришь, что ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Владаю им и буду владать!..

Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой кофточкой, как стрепет в силке), жгла его полымем черных глаз, сыпала слова — одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:

— За всю жизнь за горькую отлюблю!.. А там хучь убейте! Мой Гришка! Мой!

Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, зачихлял к дому.

Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке.

— За что, батя?

— За дело, су-у-у-кин сын!..

— За что?

— Не пакости соседу! Не срами отца! Не таскайся, кобелина! — хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, сисяя вырвать костыль.

— Дратся не дам! — глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, рванул костыль. На колено его и — хряп!..

Пантелей Прокофьевич — сына по шее тугим кулаком.

— На сходе запорю!.. Ах ты чертово семя, прокля-я-я-а-а-а-тый сын! — Он сучил ногами, намереваясь еще раз ударить. — На Марфушке-дурочке женю!.. Я те выхолошу!.. Ишь ты!..